



Андрей Платонов

Котлован.
Ювенильное море

ФТМ



Эксклюзив: Русская классика

Андрей Платонов

Котлован. Ювенильное море

«ФТМ»

1930, 1932

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Платонов А. П.

Котлован. Ювенильное море / А. П. Платонов — «ФТМ», 1930, 1932 — (Эксклюзив: Русская классика)

ISBN 978-5-17-095614-2

Выходец из провинциальной рабочей семьи, Платонов всей душой принял Октябрьскую революцию, и тем интереснее тот факт, что в его произведениях с небывалой силой передана личная мировоззренческая трагедия, необычайно ярко выраженная в «Котловане». Сама идея построения «Общепролетарского дома» превращает «Котлован» в шокирующую своей мощью антиутопию, где детали реальности обретают невероятные, карикатурно-преувеличенные размеры. Этот удивительный дом, задуманный как символ коммунистического «земного рая», в действительности становится кладбищем несбыточных фантазий. Еще более пугает своей откровенностью запрещенное в советские времена «Ювенильное море», повесть, которую критик метко назвал «“Палатой” Шукшина в декорациях Дали».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-095614-2

© Платонов А. П., 1930, 1932
© ФТМ, 1930, 1932

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Котлован | 6 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 17 |

Андрей Платонов
Котлован
Ювенильное море
Сборник

* * *

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© А. Платонов, наследники, 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2016

Котлован

В день тридцатилетия личной жизни Воцеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда.

Воцев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге – в природе было такое положение. Воцев не знал, куда его влечет, и облокотился в конце города на низкую ограду одной усадьбы, в которой приучали бессемейных детей к труду и пользе. Дальше город прекращался – там была лишь пивная для отходников и низкооплачиваемых категорий, стоявшая, как учреждение, без всякого двора, а за пивной возвышался глиняный бугор, и старое дерево росло на нем одно среди светлой погоды. Воцев добрел до пивной и вошел туда на искренние человеческие голоса. Здесь были невыдержанные люди, предававшиеся забвению своего несчастья, и Воцеву стало глуше и легче среди них. Он присутствовал в пивной до вечера, пока не зашумел ветер меняющейся погоды; тогда Воцев подошел к открытому окну, чтобы заметить начало ночи, и увидел дерево на глинистом бугре – оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались его листья. Где-то, наверно в саду совторгслужащих, томился духовой оркестр; однообразная, несбывающаяся музыка уносилась ветром в природу через приовражную пустошь, потому что ему редко полагалась радость, но ничего не мог совершить равнозначного музыке и проводил свое вечернее время неподвижно. После ветра опять настала тишина, и ее покрыл еще более тихий мрак. Воцев сел у окна, чтобы наблюдать нежную тьму ночи, слушать разные грустные звуки и мучиться сердцем, окруженным жесткими каменистыми костями.

– Эй, пищевой! – раздалось в уже смолкшем заведении. – Дай нам пару кружечек – в полость налить!

Воцев давно обнаружил, что люди в пивную всегда приходили парами, как женихи и невесты, а иногда целыми дружными свадьбами.

Пищевой служащий на этот раз пива не подал, и двое пришедших кровельщиков вытерли фартуками жаждущие рты.

– Тебе, бюрократ, рабочий человек одним пальцем должен приказывать, а ты гордишься!

Но пищевой берег свои силы от служебного износа для личной жизни и не вступал в разногласия.

– Учреждение, граждане, закрыто. Займитесь чем-нибудь на своей квартире.

Кровельщики взяли с блюдечка в рот по соленой сушке и вышли прочь. Воцев остался один в пивной.

– Гражданин! Вы требовали только одну кружку, а сидите здесь бессрочно! Вы платили за напиток, а не за помещение!

Воцев захватил свой мешок и отправился в ночь. Вопрошающее небо светило над Воцевым мучительной силой звезд, но в городе уже были потушены огни, и кто имел возможность, тот спал, наевшись ужином. Воцев спустился по крошкам земли в овраг и лег там животом вниз, чтобы уснуть и расстаться с собою. Но для сна нужен был покой ума, доверчивость его к жизни, прощение прожитого горя, а Воцев лежал в сухом напряжении сознательности и не знал – полезен ли он в мире или все без него благополучно обойдется? Из неизвестного места подул ветер, чтобы люди не задохнулись, и слабым голосом сомнения дала знать о своей службе пригородная собака.

– Скучно собаке, она живет благодаря одному рождению, как и я.

Тело Вощева побледнело от усталости, он почувствовал холод на веках и закрыл ими теплые глаза.

Пивник уже освежал свое заведение, уже волновались кругом ветры и травы от солнца, когда Воцев с сожалением открыл налившиеся влажной силой глаза. Ему снова предстояло жить и питаться, поэтому он пошел в завком – защищать свой ненужный труд.

– Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства, – сказали в завкоме. – О чем ты думал, товарищ Воцев?

– О плане жизни.

– Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты мог бы проработать в клубе или в красном уголке.

– Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне не загадка.

– Ну и что ж ты бы мог сделать?

– Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность.

– Счастье произойдет от материализма, товарищ Воцев, а не от смысла. Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте масс.

Воцев хотел попросить какой-нибудь самой слабой работы, чтобы хватило на пропитание: думать же он будет во внеурочное время; но для просьбы нужно иметь уважение к людям, а Воцев не видел от них чувства к себе.

– Вы боитесь быть в хвосте: он – конечность, и сели на шею!

– Тебе, Воцев, государство дало лишний час на твою задумчивость – работал восемь, теперь семь, ты бы и жил – молчал! Если все мы сразу задумаемся, то кто действовать будет?

– Без думы люди действуют бессмысленно! – произнес Воцев в размышлении.

Он ушел из завкома без помощи. Его пеший путь лежал среди лета, по сторонам строили дома и техническое благоустройство – в тех домах будут безмолвно существовать донныне бесприютные массы. Тело Вощева было равнодушно к удобству, он мог жить, не изнемогая в открытом месте, и томился своим несчастьем во время сытости, в дни покоя на прошлой квартире. Ему еще раз пришлось миновать пригородную пивную, еще раз он посмотрел на место своего ночлега – там осталось что-то общее с его жизнью, и Воцев очутился в пространстве, где был перед ним лишь горизонт и ощущение ветра в склонившееся лицо.

Через версту стоял дом шоссейного надзирателя. Привыкнув к пустоте, надзиратель громко ссорился с женой, а женщина сидела у открытого окна с ребенком на коленях и отвечала мужу возгласами брани; сам же ребенок молча щипал оборку своей рубашки, понимая, но ничего не говоря.

Это терпение ребенка ободрило Вощева, он увидел, что мать и отец не чувствуют смысла жизни и раздражены, а ребенок живет без упрека, вырастая себе на мученье. Здесь Воцев решил напрячь свою душу, не жалеть тела на работу ума, с тем чтобы вскоре вернуться к дому дорожного надзирателя и рассказать осмысленному ребенку тайну жизни, все время забываемую его родителями. «Их тело сейчас блуждает автоматически, – наблюдал родителей Воцев, – сущности они не чувствуют».

– Отчего вы не чувствуете сущности? – спросил Воцев, обратясь в окно. – У вас ребенок живет, а вы ругаетесь, он же весь свет родился окончить.

Муж и жена со страхом совести, скрытой за злобностью лиц, глядели на свидетеля.

– Если вам нечем спокойно существовать, вы бы почитали своего ребенка – вам лучше будет.

– А тебе чего тут надо? – со злостной тонкостью в голосе спросил надзиратель дороги. – Ты идешь и иди, для таких и дорогу замостили...

Воцев стоял среди пути не решаясь. Семья ждала, пока он уйдет, и держала свое зло в запасе.

- Я бы ушел, но мне некуда. Далеко здесь до другого какого-нибудь города?
- Ближко, – ответил надзиратель, – если не будешь стоять, то дорога доведет.
- А вы чтите своего ребенка, – сказал Воцев, – когда вы умрете, то он будет.

Сказав эти слова, Воцев отошел от дома надзирателя на версту и там сел на край канавы; но вскоре он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться. Воцев, истомившись размышлением, лег в пыльные, проезжие травы; было жарко, дул дневной ветер, и где-то кричали петухи на деревне – все предавалось безответному существованию, один Воцев отделился и молчал. Умерший, палый лист лежал рядом с головою Воцева, его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле. Воцев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка, где он собирал всякие предметы несчастья и безвестности. «Ты не имел смысла жизни, – со скупостью сочувствия полагал Воцев, – лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить».

– Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая, – сказал Воцев близ дороги и встал, чтоб идти, окруженный всеобщим терпеливым существованием. – Как будто кто-то один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе.

Он шел по дороге до изнеможения; изнемогал же Воцев скоро, как только его душа вспоминала, что истину она перестала знать.

Но уже был виден город вдалеке, дымились его кооперативные пекарни, и вечернее солнце освещало пыль над домами от движения населения. Тот город начинался кузницей, и в ней во время прохода Воцева чинили автомобиль от бездорожной езды. Жирный калека стоял подле коновязи и обращался к кузнецу:

– Миш, насыпь табачку: опять замок ночью сорву!

Кузнец не ответил из-под автомобиля. Тогда увечный толкнул его костылем в зад.

– Миш, лучше брось работать – насыпь: убытков наделаю!

Воцев приостановился около калеки, потому что по улице двинулся из глубины города строй детей-пионеров с уставшей музыкой впереди.

– Я ж вчера тебе целый рубль дал, – сказал кузнец. – Дай мне покой хоть на неделю! А то я терплю-терплю и костыли твои пожгу!

– Жги! – согласился инвалид. – Меня ребята на тележке доставят – крышу с кузни сорву!

Кузнец отвлекся видом детей и, добрея, насыпал увечному табаку в кисет.

– Грабь, саранча!

Воцев обратил внимание, что у калеки не было ног – одной совсем, а вместо другой находилась деревянная приставка; держался изувеченный опорой костылей и подсобным напряжением деревянного отростка правой отсеченной ноги. Зубов у инвалида не было никаких, он их сработал начисто на пищу, зато наел громадное лицо и тучный остаток туловища; его коричневые, скупо отверзтые глаза наблюдали посторонний для них мир с жадностью обездоленности, с тоской скопившейся страсти, а во рту его терлись десны, произнося неслышные мысли безногого.

Оркестр пионеров, отдалившись, заиграл музыку молодого похода. Мимо кузницы, с сознанием важности своего будущего, ступали точным маршем босые девочки; их слабые, мужающие тела были одеты в матроски, на задумчивых, внимательных головах вольно возлежали красные береты, и их ноги были покрыты пухом юности. Каждая девочка, двигаясь в меру общего строя, улыбалась от чувства своего значения, от сознания серьезности жизни, необходимой для непрерывности строя и силы похода. Любая из этих пионерок родилась в то время, когда в полях лежали мертвые лошади социальной войны, и не все пионеры имели кожу в час своего происхождения, потому что их матери питались лишь запасами собственного тела; поэтому на лице каждой пионерки осталась трудность немоги ранней жизни, скудость

тела и красоты выражения. Но счастье детской дружбы, осуществление будущего мира в игре юности и достоинстве своей строгой свободы обозначили на детских лицах важную радость, заменившую им красоту и домашнюю упитанность.

Воцев стоял с робостью перед глазами шествия этих неизвестных ему, взволнованных детей; он стыдился, что пионеры, наверное, знают и чувствуют больше его, потому что дети – это время, созревающее в свежем теле, а он, Воцев, устраняется спешащей, действующей молодостью в тишину безвестности, как тщетная попытка жизни добиться своей цели. И Воцев почувствовал стыд и энергию – он захотел немедленно открыть всеобщий, долгий смысл жизни, чтобы жить впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью.

Одна пионерка выбежала из рядов в прилегающую к кузнице ржаную ниву и там сорвала растение. Во время своего действия маленькая женщина нагнулась, обнажив родинку на опухающем теле, и с легкостью неощутимой силы исчезла мимо, оставляя сожаление в двух зрителях – Воцеве и калеке. Воцев поглядел на инвалида; у того надулось лицо безвыходной кровью, он простонал звук и пошевелил рукою в глубине кармана. Воцев наблюдал настроение могучего увечного, но был рад, что уроду империализма никогда не достанутся социалистические дети. Однако калека смотрел до конца пионерское шествие, и Воцев побоялся за целостность и непорочность маленьких людей.

– Ты бы глядел глазами куда-нибудь прочь, – сказал он инвалиду. – Ты бы лучше закурил!

– Марш в сторону, указчик! – произнес безногий.

Воцев не двигался.

– Кому говорю? – напомнил калека. – Получить от меня захотел?!

– Нет, – ответил Воцев. – Я испугался, что ты на ту девочку свое слово скажешь или подействуешь как-нибудь.

Инвалид в привычном мучении наклонил свою большую голову к земле.

– Чего ж я скажу ребенку, стервец. Я гляжу на детей для памяти, потому что помру скоро.

– Это, наверно, на капиталистическом сражении тебя повредили, – тихо проговорил Воцев. – Хотя калеки тоже стариками бывают, я их видел.

Увечный человек обратил свои глаза на Воцева, в которых сейчас было зверство превосходящего ума; увечный вначале даже помолчал от обозления на прохожего, а потом сказал с медленностью ожесточения:

– Старики такие бывают, а вот калечных таких, как ты, – нету.

– Я на войне настоящей не был, – сказал Воцев. – Тогда б и я вернулся оттуда не полностью весь.

– Вижу, что ты не был: откуда же ты дурак! Когда мужик войны не видал, то он вроде нерожавшей бабы – идиотом живет. Тебя ж сквозь скорлупу всего заметно!

– Эх!.. – жалобно произнес кузнец. – Гляжу на детей, а самому так и хочется крикнуть: «Да здравствует Первое мая!»

Музыка пионеров отдохнула и заиграла вдали марш движения. Воцев продолжал томиться и пошел в этот город жить.

До самого вечера молча ходил Воцев по городу, словно в ожидании, когда мир станет общеизвестен. Однако ему по-прежнему было неясно на свете, и он ощущал в темноте своего тела тихое место, где ничего не было, но ничто ничему не препятствовало начаться. Как заочно живущий, Воцев гулял мимо людей, чувствуя нарастающую силу горющего ума и все более уединяясь в тесноте своей печали.

Только теперь он увидел середину города и строящиеся устройства его. Вечернее электричество уже было зажжено на построечных лесах, но полевой свет тишины и вянувший запах сна приблизились сюда из общего пространства и стояли нетронутыми в воздухе. Отдельно от природы в светлом месте электричества с желанием трудились люди, возводя кирпичные огорожи, шагая с ношей груза в тесовом бреду лесов. Воцев долго наблюдал строительство

неизвестной ему башни; он видел, что рабочие шевелились равномерно, без резкой силы, но что-то уже прибыло в постройке для ее завершения.

– Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки? – не решался верить Воцев. – Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет? – сомневался Воцев на ходу.

Он отошел из середины города на конец его. Пока он двигался туда, наступила безлюдная ночь; лишь вода и ветер населяли вдали этот мрак и природу, и одни птицы сумели воспеть грусть этого великого вещества, потому что они летали сверху и им было легче.

Воцев забрел в пустырь и обнаружил теплую яму для ночлега; снизившись в эту земную впадину, он положил под голову мешок, куда собирал для памяти и отмищения всякую безвестность, опечалился и с тем уснул. Но какой-то человек вошел на пустырь с косой в руках и начал сечь травяные рощи, росшие здесь испокон века.

К полночи косарь дошел до Воцева и определил ему встать и уйти с площади.

– Чего тебе! – неохотно говорил Воцев. – Какая тут площадь, это лишнее место.

– А теперь будет площадь, теперь здесь положено быть каменному делу. Ты утром приходи поглядеть на это место, а то оно скоро скроется навеки под устройством.

– А где же мне быть?

– Ты смело можешь в бараке доспать. Ступай туда и спи до утра, а утром ты выяснишься.

Воцев пошел по рассказу косаря и вскоре заметил дощатый сарай на бывшем огороде. Внутри сарая спали на спине семнадцать или двадцать человек, и припотушенная лампа освещала бессознательные человеческие лица. Все спящие были худы, как умершие, тесное место меж кожей и костями у каждого было занято жилами, и по толщине жил было видно, как много крови они должны пропускать во время напряженного труда. Ситец рубах с точностью передавал медленную освежающую работу сердца – оно билось вблизи, во тьме опустошенного тела каждого уснувшего. Воцев всмотрелся в лицо ближнего спящего – не выражает ли оно безответного счастья удовлетворенного человека. Но спящий лежал замертво, глубоко и печально скрылись его глаза, и охладевшие ноги беспомощно вытянулись в старых рабочих штанах. Кроме дыхания, в бараке не было звука, никто не видел снов и не разговаривал с воспоминаниями, – каждый существовал без всякого излишка жизни, и во время сна оставалось живым только сердце, берегущее человека. Воцев почувствовал холод усталости и лег для тепла среди двух тел спящих мастеровых. Он уснул, незнакомый этим людям, закрывшим свои глаза, и довольный, что около них ночует, – и так спал, не чувствуя истины, до светлого утра.

Утром Воцеву ударил какой-то инстинкт в голову, он проснулся и слушал чужие слова, не открывая глаз.

– Он слаб!

– Он несознательный.

– Ничего: капитализм из нашей породы делал дураков, и этот – тоже остаток мрака.

– Лишь бы он по сословию подходил: тогда – годится.

– Видя по его телу, класс его бедный.

Воцев в сомнении открыл глаза на свет наступившего дня. Вчерашние спящие живыми стояли над ним и наблюдали его немощное положение.

– Ты зачем здесь ходишь и существуешь? – спросил один, у которого от измождения слабо росла борода.

– Я здесь не существую, – произнес Воцев, стыдась, что много людей чувствуют сейчас его одного. – Я только думаю здесь.

– А ради чего же ты думаешь, себя мучаешь?

– У меня без истины тело слабнет, я трудом кормиться не могу, я задумывался на производстве, и меня сократили...

Все мастеровые молчали против Вощева: их лица были равнодушны и скучны, редкая, заранее утомленная мысль освещала их терпеливые глаза.

– Что же твоя истина! – сказал тот, кто говорил прежде. – Ты же не работаешь, ты не переживаешь вещества существования, откуда же ты вспомнишь мысль!

– А зачем тебе истина? – спросил другой человек, разомкнув спекшиеся от безмолвия уста. – Только в уме у тебя будет хорошо, а снаружи гадко.

– Вы уж, наверно, все знаете? – с робостью слабой надежды спросил их Вощев.

– А как же иначе? Мы же всем организациям существование даем! – ответил низкий человек из своего высохшего рта, около которого от измождения слабо росла борода.

В это время отворился дверной вход, и Вощев увидел ночного косаря с артельным чайником: кипятик уже поспел на плите, которая топилась на дворе барака; время пробуждения миновало, наступила пора питаться для дневного труда...

Сельские часы висели на деревянной стене и терпеливо шли силой тяжести мертвого груза; розовый цветок был изображен на облике механизма, чтобы утешать всякого, кто видит время. Мастеровые сели в ряд по длине стола, косарь, ведавший женским делом в бараке, нарезал хлеб и дал каждому человеку ломоть, а в прибавок еще по куску вчерашней холодной говядины. Мастеровые начали серьезно есть, принимая в себя пищу как должное, но не наслаждаясь ею. Хотя они и владели смыслом жизни, что равносильно вечному счастью, однако их лица были угрюмы и худы, а вместо покоя жизни они имели измождение. Вощев со скупостью надежды, со страхом утраты наблюдал этих грустно существующих людей, способных без торжества хранить внутри себя истину; он уже был доволен и тем, что истина заключалась на свете в ближнем к нему теле человека, который сейчас только говорил с ним, значит, достаточно лишь быть около того человека, чтобы стать терпеливым к жизни и трудоспособным.

– Иди с нами кушать! – позвали Вощева евшие люди.

Вощев встал и, еще не имея полной веры в общую необходимость мира, пошел есть, стесняясь и тоскуя.

– Что же ты такой скудный? – спросили у него.

– Так, – ответил Вощев. – Я теперь тоже хочу работать над веществом существования.

За время сомнения в правильности жизни он редко ел спокойно, всегда чувствуя свою томящую душу.

Но теперь он поел хладнокровно, и наиболее активный среди мастеровых, товарищ Сафронов, сообщил ему после питания, что, пожалуй, и Вощев теперь годится в труд, потому что люди нынче стали дороги, наравне с материалом; вот уже который день ходит профуполномоченный по окрестностям города и пустым местам, чтобы встретить бесхозьяственных бедняков и образовать из них постоянных тружеников, но редко кого приводит – весь народ занят жизнью и трудом.

Вощев уже наелся и встал среди сидящих.

– Чего ты поднялся? – спросил его Сафронов.

– Сидя у меня мысль еще хуже развивается. Я лучше постою.

– Ну, стой. Ты, наверно, интеллигенция – той лишь бы посидеть да подумать.

– Пока я был бессознательным, я жил ручным трудом, а уж потом – не увидел значения жизни и ослаб.

К бараку подошла музыка и заиграла особые жизненные звуки, в которых не было никакой мысли, но зато имелось ликующее предчувствие, приводившее тело Вощева вдребезжащее состояние радости. Тревожные звуки внезапной музыки давали чувство совести, они предлагали беречь время жизни, пройти даль надежды до конца и достигнуть ее, чтобы найти там источник этого волнующего пения и не заплакать перед смертью от тоски тщетности.

Музыка перестала, и жизнь осела во всех прежней тяжестью.

Профуполномоченный, уже знакомый Воцеву, вошел в рабочее помещение и попросил всю артель пройти один раз поперек старого города, чтобы увидеть значение того труда, который начнется на выкошенном пустыре после шествия.

Артель мастеровых вышла наружу и со смущением остановилась против музыкантов. Сафронов ложно покашливал, стыдясь общественной чести, обращенной к нему в виде музыки. Землекоп Чиклин глядел с удивлением и ожиданием – он не чувствовал своих заслуг, но хотел еще раз прослушать торжественный марш и молча порадоваться. Другие робко опустили терпеливые руки.

Профуполномоченный от забот и деятельности забывал ощущать самого себя, и так ему было легче; в суете сплачивания масс и организации подсобных радостей для рабочих он не помнил про удовлетворение удовольствиями личной жизни, худел и спал глубоко по ночам. Если бы профуполномоченный убавил волнение своей работы, вспомнил про недостаток домашнего имущества в своем семействе или погладил бы ночью свое уменьшившееся, постаревшее тело, он бы почувствовал стыд существования за счет двух процентов тоскующего труда. Но он не мог останавливаться и иметь созерцающее сознание.

Со скоростью, происходящей от беспокойной преданности трудящимся, профуполномоченный выступил вперед, чтобы показать расселившийся усадьбами город квалифицированным мастеровым, потому что они должны сегодня начать постройкой то единое здание, куда войдет на поселение весь местный класс пролетариата, – и тот общий дом возвысится над всем усадебным, дворовым городом, а малые единоличные дома опустеют, их непроницаемо покроет растительный мир, и там постепенно остановят дыхание исчахшие люди забытого времени.

К бараку подошли несколько каменных кладчиков с двух новостроящихся заводов, профуполномоченный напрягся от восторга последней минуты перед маршем строителей по городу; музыканты приложили духовные принадлежности к губам, но артель мастеровых стояла врозь, не готовая идти. Сафронов заметил ложное усердие на лицах музыкантов и обиделся за унижаемую музыку.

– Это что еще за игрушку придумали? Куда это мы пойдем – чего мы не видали!

Профуполномоченный потерял готовность лица и почувствовал свою душу – он всегда ее чувствовал, когда его обижали.

– Товарищ Сафронов! Это окпрофбюро хотело показать вашей первой образцовой артели жалость старой жизни, разные бедные жилища и скучные условия, а также кладбище, где хоронились пролетарии, которые скончались до революции без счастья, – тогда бы вы увидели, какой это погибший город стоит среди равнины нашей страны, тогда бы вы сразу узнали, зачем нам нужен общий дом пролетариату, который вы начнете строить вслед за тем...

– Ты нам не переугождай! – возражающе произнес Сафронов. – Что мы – или не видели мелких домов, где живут разные авторитеты? Отведи музыку в детскую организацию, а мы справимся с домом по одному своему сознанию.

– Значит, я переугожденец? – все более догадываясь, пугался профуполномоченный. – У нас есть в профбюро один какой-то аллилуйщик, а я, значит, переугожденец?

И заболев сердцем, профуполномоченный молча пошел в учреждение союза, и оркестр за ним.

На выкошенном пустыре пахло умершей травой и сыростью обнаженных мест, отчего яснее чувствовалась общая грусть жизни и тоска тщетности. Воцеву дали лопату, он сжал ее руками, точно хотел добыть истину из земного праха; обездоленный, Воцев согласен был и не иметь смысла существования, но желал хотя бы наблюдать его в веществе тела другого, ближнего человека, – и, чтобы находиться вблизи того человека, мог пожертвовать на труд все свое слабое тело, истомленное мыслью и бессмысленностью.

Среди пустыря стоял инженер – не старый, но седой от счета природы человек. Весь мир он представлял мертвым телом – он судил его по тем частям, какие уже были им обращены в сооружения: мир всюду поддавался его внимательному и воображающему уму, ограниченному лишь сознанием косности природы; материал всегда сдавался точности и терпению, значит, он был мертв и пустынен. Но человек был жив и достоин среди всего унылого вещества, поэтому инженер сейчас вежливо улыбался мастеровым. Воцев видел, что щеки у инженера были розовые, но не от упитанности, а от излишнего сердцебиения, и Воцеву понравилось, что у этого человека волнуется и бьется сердце.

Инженер сказал Чиклину, что он уже разбил земляные работы и разметил котлован, и показал на вбитые колышки: теперь можно начинать. Чиклин слушал инженера и добавочно проверял его разбивку своим умом и опытом – он во время земляных работ был старшим в артели, грунтовый труд был его лучшей профессией; когда же настанет пора бутовой кладки, то Чиклин подчинится Сафронову.

– Мало рук, – сказал Чиклин инженеру, – это измор, а не работа – время всю пользу съест.

– Биржа обещала прислать пятьдесят человек, а я просил сто, – ответил инженер. – Но отвечать будем за все работы в материке только вы и я: вы – ведущая бригада.

– Мы вести не будем. А будем равнять всех с собой. Лишь бы люди явились.

И, сказав это, Чиклин вонзил лопату в верхнюю мякоть земли, сосредоточив вниз равнодушно-задумчивое лицо. Воцев тоже начал рыть почву вглубь, пуская всю силу в лопату; он теперь допускал возможность того, что детство вырастет, радость делается мыслью и будущий человек найдет себе покой в этом прочном доме, чтобы глядеть из высоких окон в простертый, ждущий его мир. Уже тысячи былинки, корешков и мелких почвенных приютов усердной твари он уничтожил навсегда и работал в теснинах тоскливой глины. Но Чиклин его опередил, он давно оставил лопату и взял лом, чтобы крошить нижние сжатые породы. Упраздняя старинное природное устройство, Чиклин не мог его понять.

От сознания малочисленности своей артели Чиклин спешно ломал вековой грунт, обращая всю жизнь своего тела в удары по мертвым местам. Сердце его привычно билось, терпеливая спина истощалась потом, никакого предохраняющего сала у Чиклина под кожей не было – его старые жилы и внутренности близко подходили наружу, он ощущал окружающее без расчета и сознания, но с точностью. Когда-то он был моложе и его любили девушки – из жадности к его мощному, бредущему куда попало телу, которое не хранило себя и было преданно всем. В Чиклине тогда многие нуждались как в укрытии и покое среди его верного тела, но он хотел укрывать слишком многих, чтобы и самому было чего чувствовать, тогда женщины и товарищи из ревности покидали его, а Чиклин, тоскуя по ночам, выходил на базарную площадь и опрокидывал торговые будки или вовсе уносил их куда-нибудь прочь, за что томился затем в тюрьме и пел оттуда песни в летние вишневые вечера.

К полудню усердие Воцева давало все меньше и меньше земли, он начал уже раздражаться от рытья и отстал от артели; лишь один худой мастеровой работал тише его. Этот задний был угрюм, ничтожен всем телом, пот слабости капал в глину с его мутного однообразного лица, обросшего по окружности редкими волосами; при подъеме земли на урез котлована он кашлял и вынуждал из себя мокроту, а потом, успокоившись, закрывал глаза, словно желая сна.

– Козлов! – крикнул ему Сафронов. – Тебе опять неможется?

– Опять, – ответил Козлов своим бледным голосом ребенка.

– Наслаждаешься много, – произнес Сафронов. – Будем тебя класть спать теперь на столе под лампой, чтоб ты лежал и стыдился.

Козлов поглядел на Сафронова красными сырыми глазами и помолчал от равнодушного утомления.

– За что он тебя? – спросил Воцев.

Козлов вынул соринку из своего костяного носа и посмотрел в сторону, точно тоскуя о свободе, но на самом деле ни о чем не тосковал.

– Они говорят, – ответил он, – что у меня женщины нету, – с трудом обиды сказал Козлов, – что я ночью под одеялом сам себя люблю, а днем от пустоты тела жить не гожусь. Они ведь, как говорится, все знают!

Вощев снова стал рыть одинаковую глину и видел, что глины и общей земли еще много остается – еще долго надо иметь жизнь, чтобы превозмочь забвеньем и трудом этот залегший мир, спрятавший в своей темноте истину всего существования. Может быть, легче выдумать смысл жизни в голове – ведь можно нечаянно догадаться о нем или коснуться его печально текущим чувством.

– Сафронов, – сказал Вощев, ослабев терпеньем, – лучше я буду думать без работы, все равно весь свет не разроешь до дна.

– Не выдумаешь, – не отвлекаясь сообщил Сафронов, – у тебя не будет памяти вещества, и ты станешь вроде Козлова думать сам себя, как животное.

– Чего ты стонешь, сирота! – отозвался Чиклин спереди. – Смотри на людей и живи, пока родился.

Вощев поглядел на людей и решил кое-как жить, раз они терпят и живут: он вместе с ними произошел и умрет в свое время неразлучно с людьми.

– Козлов, ложись вниз лицом, отдышись! – сказал Чиклин. – Кашляет, вздыхает, молчит, горюет – так могилы роют, а не дома.

Но Козлов не уважал чужой жалости к себе – он сам незаметно погладил за пазухой свою глухую ветхую грудь и продолжал рыть связный грунт. Он еще верил в наступление жизни после постройки больших домов и боялся, что в ту жизнь его не примут, если он представится туда жалобным нетрудовым элементом. Лишь одно чувство трогало Козлова по утрам – его сердце затруднялось биться, но все же он надеялся жить в будущем хотя бы маленьким остатком сердца; однако по слабости груди ему приходилось во время работы гладить себя изредка поверх костей и уговаривать шепотом терпеть.

Уже прошел полдень, а биржа не прислала землекопов. Ночной косарь травы выпался, сварил картошек, полил их яйцами, смочил маслом, подбавил вчерашней каши, посыпал сверху для роскоши укропом и принес в котле эту сборную пищу для развития павших сил артели.

Ели в тишине, не глядя друг на друга и без жадности, не признавая за пищей цены, точно сила человека происходит из одного сознания.

Инженер обошел своим ежедневным обходом разные неперменные учреждения и явился на котлован. Он постоял в стороне, пока люди съели все из котла, и тогда сказал:

– В понедельник будут еще сорок человек. А сегодня – суббота: вам уже пора кончать.

– Как так кончать? – спросил Чиклин. – Мы еще куб или полтора выбросим, раньше кончать ни к чему.

– А надо кончать, – возразил производитель работ. – Вы уже работаете больше шести часов, и есть закон.

– Тот закон для одних усталых элементов, – воспрепятствовал Чиклин, – а у меня еще малость силы осталось до сна. Кто как думает? – спросил он у всех.

– До вечера долго, – сообщил Сафронов, – чего жизни зря пропадать, лучше сделаем вещь. Мы ведь не животные, мы можем жить ради энтузиазма.

– Может, природа нам что-нибудь покажет внизу, – сказал Вощев.

– И то! – произнес неизвестно кто из мастеровых.

Инженер наклонил голову, он боялся пустого домашнего времени, он не знал, как ему жить одному.

– Тогда и я пойду почерчу немного и свайные гнезда посчитаю опять.

– А то что ж: ступай почерти и посчитай! – согласился Чиклин. – Все равно земля вскопана, кругом скучно – отделаемся, тогда назначим жизнь и отдохнем.

Производитель работ медленно отошел. Он вспомнил свое детство, когда под праздники прислуга мыла полы, мать убирала горницы, а по улице текла неприятная вода, и он, мальчик, не знал, куда ему деться, и ему было тоскливо и задумчиво. Сейчас тоже погода пропала, над равниной пошли медленные сумрачные облака, и во всей России теперь моют полы под праздник социализма, – наслаждаться как-то еще рано и ни к чему; лучше сесть, задуматься и чертить части будущего дома.

Козлов от сытости почувствовал радость, и ум его увеличился.

– Всему свету, как говорится, хозяева, а жрать любят, – сообщил Козлов. – Хозяин бы себе враз дом построил, а вы помрете на порожней земле.

– Козлов, ты скот! – определил Сафронов. – На что тебе пролетариат в доме, когда ты одним своим телом радуешься?

– Пускай радуюсь! – ответил Козлов. – А кто меня любил хоть раз? Терпи, говорят, пока старик капитализм помрет, теперь он кончился, а я опять живу один под одеялом, и мне ведь грустно!

Воцев заволновался от дружбы к Козлову.

– Грусть – это ничего, товарищ Козлов, – сказал он, – это значит, наш класс весь мир чувствует, а счастье все равно далекое дело... От счастья только стыд начнется!

В следующее время Воцев и другие с ним опять встали на работу. Еще высоко было солнце, и жалобно пели птицы в освещенном воздухе, не торжествуя, а ища пищи в пространстве; ласточки низко мчались над склоненными роющими людьми, они смолкали крыльями от усталости, и под их пухом и перьями был пот нужды – они летали с самой зари, не переставая мучить себя для сытости птенцов и подруг. Воцев поднял однажды мгновенно умершую в воздухе птицу и павшую вниз: она была вся в поту; а когда ее Воцев ощипал, чтобы увидеть тело, то в его руках осталось скудное печальное существо, погибшее от утомления своего труда. И нынче Воцев не жалел себя на уничтожении сросшегося грунта: здесь будет дом, в нем будут храниться люди от невзгоды и бросать крошки из окон живущим снаружи птицам.

Чиклин, не видя ни птиц, ни неба, не чувствуя мысли, грузно разрушал землю ломом, и его плоть истощалась в глинистой выемке, но он не тосковал от усталости, зная, что в ночном сне его тело наполнится вновь.

Истомленный Козлов сел на землю и рубил топором обнажившийся известняк; он работал, не помня времени и места, спуская остатки своей теплой силы в камень, который он рассекал, – камень нагревался, а Козлов постепенно холодел. Он мог бы так весь незаметно скончаться, и разрушенный камень был бы его бедным наследством будущим растущим людям. Штаны Козлова от движения заголились, сквозь кожу обтягивались кривые острые кости голеней, как ножи с зубринами. Воцев почувствовал от тех незащитных костей тоскливую нервность, ожидая, что кости прорвут непрочную кожу и выйдут наружу; он попробовал свои ноги в тех же костных местах и сказал всем:

– Пора пошабашить! А то вы уморитесь, умрете, и кто тогда будет людьми?

Воцев не услышал себе слово в ответ. Уже наставал вечер; вдалеке подымалась синяя ночь, обещая сон и прохладное дыхание, и – точно грусть – стояла мертвая высота над землей. Козлов по-прежнему уничтожал камень в земле, ни на что не отлучаясь взглядом, и, наверно, скучно билось его ослабевшее сердце.

Производитель работ общепролетарского дома вышел из своей чертежной конторы во время ночной тьмы. Яма котлована была пуста, артель мастеровых заснула в бараке тесным рядом туловищ, и лишь огонь ночной припотушенной лампы проникал оттуда сквозь щели теса, держа свет на всякий несчастный случай или для того, кто внезапно захочет пить. Инженер Прушевский подошел к барaku и поглядел внутрь через отверстие бывшего сучка; около

стены спал Чиклин, его опухшая от силы рука лежала на животе, и все тело шумело в питающей работе сна; босой Козлов спал с открытым ртом, горло его клокотало, будто воздух дыхания проходил сквозь тяжелую темную кровь, а из полуоткрытых бледных глаз выходили редкие слезы – от сновидения или неизвестной тоски.

Прушевский отнял голову от досок и подумал. Вдалеке светилась электричеством ночная постройка завода, но Прушевский знал, что там нет ничего, кроме мертвого строительного материала и усталых, недумаящих людей. Вот он выдумал единственный общепролетарский дом вместо старого города, где и посейчас живут люди дворовым огороженным способом; через год весь местный пролетариат выйдет из мелкоимущественного города и займет для жизни монументальный новый дом. Через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли. Прушевский мог бы уже теперь предвидеть, какое произведение статической механики в смысле искусства и целесообразности следует поместить в центре мира, но не мог предчувствовать устройства души поселенцев общего дома среди этой равнины и тем более вообразить жителей будущей башни посреди всемирной земли. Какое тогда будет тело у юности и от какой волнующей силы начнет биться сердце и думать ум?

Прушевский хотел это знать уже теперь, чтобы не напрасно строились стены его зодчества; дом должен быть населен людьми, а люди наполнены той излишней теплотой жизни, которая названа однажды душой. Он боялся воздвигать пустые здания – те, в каких люди живут лишь из-за непогоды.

Прушевский остыл от ночи и спустился в начатую яму котлована, где было затишье. Некоторое время он посидел в глубине; под ним находился камень, сбоку возвышалось сечение грунта, и видно было, как на урезе глины, не происходя из нее, лежала почва. Изо всякой ли базы образуется надстройка? Каждое ли производство жизненного материала дает добавочным продуктом душу в человека? А если производство улучшить до точной экономии – то будут ли происходить из него косвенные, неожиданные продукты?

Инженер Прушевский уже с двадцати пяти лет почувствовал стеснение своего сознания и конец дальнейшему понятию жизни, будто темная стена предстала в упор перед его ощущающим умом. И с тех пор он мучился, шевелясь у своей стены, и успокаивался, что, в сущности, самое срединное, истинное устройство вещества, из которого скомбинирован мир и люди, им постигнуто, – вся насущная наука расположена еще до стены его сознания, а за стеною находится лишь скучное место, куда можно и не стремиться. Но все же интересно было – не вылез ли кто-нибудь за стену вперед. Прушевский еще раз подошел к стене барака, согнувшись, поглядел по ту сторону на ближнего спящего, чтобы заметить на нем что-нибудь неизвестное в жизни; но там мало было видно, потому что в ночной лампе иссякал керосин, и слышалось одно медленное, западающее дыхание. Прушевский оставил барак и отправился бриться в парикмахерскую ночных смен; он любил, чтобы во время тоски его касались чьи-нибудь руки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.